

Я ПОВЫВАЛ на выставке болгарского художника Светлана Русева. Выставка устроена внутри, может быть, самого красивого в мире софийского вокзала. Сначала кажется, что картины — над. Над ждущими поезда, уставшими от шума большого города болгарскими крестьянками — с их корзинами и сумками, набитыми священным мусором столичных покупок. Над рабочими, в чьих отяжелевших глазах еще мелькает серая река конвейера и в чьих ушах еще продолжают грохотать станки, у которых они только что стояли. Над хрупкой студенткой, у которой на бахроме джинсов печально повис зацепившийся алый лепесток болгарской розы. Над всем уезжающим, приезжающим, ожидающим, встречающим, провожающим, умирающим и рождающимся, прекрасным и изнурительным хаосом перпетуум-мобильной жизни человечества на холстах висят распятые на окровавленной проволоке жертвы террора в Чили, и страдания далекого Сантьяго, отражаясь в глазах болгар-

услужливо счищает даже кровь с обуви убитых, ни в роль громкоговорителя, ни в роль туристской рекламы, ни в роль плаката. Искусство, как выставка на вокзале, — это единственная возможность остановить хотя бы на минуту слишком спешащий, слишком изнервленный мир, чтобы люди наткнувшись глазами на воссозданных самих себя, замерли и задумались: кто же мы такие?

Этому самовопросу не научишь дидактикой. Дидактика никогда не делала людей лучше. Лозунг не может проникнуть так глубоко внутрь человека, как великая картина. Только задумывание человека над собой, которое спасительно нам дарует великое искусство, делает нас лучше. Такое задумывание иногда неприятно, царапающе, болезненно, но позор тем, кто от искусства ждет только так называемого «эстетического наслаждения». Большие художники — это не декораторы страданий мира, не хитроумные музыкальные аранжировщики криков или стонов, они сами эти страдания, они сами эти крики и стоны. Морально опасен в перспективе любой человек, откладывающий в

причиняют людям искусство или любовь, относятся к страданиям необходимым, которые и делают человека человеком. Но мы еще живем в мире страданий ненужных, отвратительно унижающих человеческое достоинство, в мире страданий, навязываемых нам любыми формами насилия, включая его зловещую кровавую концентрацию — войну. Существует выражение, что даже плохой мир лучше войны. Оно иногда подвергается сомнению. Да, лучше, потому что люди все-таки не убивают друг друга пулями, бомбами, не сжигают мирных деревень напалмом, не давят танками, но я не согласен с тем, чтобы мир этот оставался на неопределенное время плохим, ибо при плохом мире тоже идет война, только другими, более изощренными, ханжескими средствами, потому что лживая пропаганда — это война, потому что социальное равнодушие — это война, потому что предательство интересов собственных народов и эксплуатация их — это война, потому что циничное политиканство — это война, потому что террор страхом потерять работу — это война, потому что бюрократы в штатском, на-

душе моей, господа... пощадите». Когда речь идет о живом существе — о человечестве, писатели не должны уподобляться манипуляторам чужими страданиями во имя сорванных аплодисментов, иногда производящихся довольно-таки грязными руками. У каждого из нас свой определенный профессиональный стиль, но в отношениях друг с другом мы должны соблюдать единый стиль — стиль благородства. Мы не должны поддаваться на вой третьесортных койотов из газетных джунглей, пытающихся натравливать писателей мира друг на друга, как йеллоустоунских гризли на сибирских медведей. Даже свозь газетные джунгли мы, писатели мира, должны бросить друг другу спасительный клич маленького Маугли: «Мы одной крови — ты и я!»

Мировая прогрессивная литературная интеллигенция — это единое целое, как бы ни пытались вульгарно-социологически расколоть нас на разные лагеря. Недавно я читал книгу испанской писательницы Аны Марии Матуте о ее детстве, прошедшем во франкистской Испании. Я вырос совершенно в других условиях — на маленькой сибирской станции Зима. История, казалось, сделала все, чтобы Ана Мария Матуте и я никогда не поняли друг друга. Но ее детство тронуло меня так, как будто стало частью моего собственного. Трагедия латиноамериканской деревушки Маюнда, рассказанная Габриелем Гарсиа Маркесом, так задела меня и многих наших читателей, как будто это наша русская деревня. Чарльз Сноу — это английский лорд, а я из крестьянской семьи, но у меня нет в Англии никого ближе по духу, во всяком случае среди мужской части этой страны.

В течение многих лет государственные отношения между Соединенными Штатами и нашей страной были отравлены «холодной войной». Нас хотели разъединить. Но можно ли представить сегодняшнего полноценного советского интеллигента, который бы не был, помимо нашей классики, воспитан и американской — Эдгаром По, Твенном, Мелвиллом, Уитменом, Крейном, Драйзером, Вулфом, Фидджеральдом, Хемингуэем, Фоллинером, Стейнбеком, пьесами Уильямса, Хеллман, Миллера, Олби, О'Нила? И разве этот современный советский интеллигент не зачитывается сегодня Робертом Пенном Уорреном, Алдайком, Стайроном, Чивером, Хеллером, Воцнегутом, Уайлдером? Вот только один пример, какая огромная сила — литература, и как нужна постоянная выставка наших призывающих к миру полотен на вокзале жизни.

Иногда мы, писатели, впадаем в профессиональный пессимизм, сомневаемся в действительности нашего слова: ведь если даже Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте, Толстой, Достоевский не смогли улучшить человечество, что же можем сделать мы? Но этот пессимизм не обоснован. Если у человечества есть совесть, то этим оно обязано великой силе искусства.

Т. С. Элиот когда-то написал мрачное предсказание:

Так и кончается мир.  
Так и кончается мир,  
Так и кончается мир —  
только не взрывом,  
а взвыгом.

Мы должны нашим словом сделать все, чтобы не довести человечество до взрыва. Но нашим словом мы должны сделать все, чтобы не довести человечество и до самодовольного взвыга духовной сытости, который не менее морально опасен, чем война.

И когда на вокзале жизни нам придется сесть в наш последний поезд, то пусть на стенах этого вокзала светится все то, что мы написали, как наше завещание живым.

Евг. ЕВТУШЕНКО

# ВЫСТАВКА НА ВОКЗАЛЕ

ских крестьянок, становятся частью переполненного человеческого дыханиями софийского вокзала. А самое прекрасное, когда крестьянки на вокзале, на минуту забыв тяжесть сумок в своих руках, вглядываются в самих себя, написанных на холстах, вглядываются удивленно и чуть настороженно, может быть, впервые задумавшись о себе: кто же мы такие? И картины перестают быть над, они медленно опускаются в глубь человеческих глаз, садятся вместе с людьми в вагоны и едут, сами не зная куда.

Я не верю в искусство над. Над вокзалом или схваткой. Большое искусство не должно стесняться быть выставкой на вокзале. На вокзале нашей жизни, набитом страданиями и надеждами, о котором Пастернак писал: «Вокзал, нестерпимый ящик разлук моих, встреч и разлук...». Роль художника на вокзале жизни не должна превращаться ни в роль вокзального милиционера, ни в роль автомата для чистки ботинок, который за монетки, всовываемые в щель,

сторону «тяжелую книгу» и ложноспасительно заменяющей ее развлекательной пустой юмористикой или детективом. Человек, отвернувшийся от чужих страданий в книге, может отвернуться от таких страданий и в жизни. Достоевский сказал об этом так: «Мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище, как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение, чтобы потом забыть его в нашем весельи и играх».

Однажды поэт Борис Слуцкий сказал мне, что все человечество он делит на три категории: на тех, кто прочел «Братев Карамазовых», на тех, кто еще не прочел, и на тех, кто никогда не прочтет. Я заметил ему, что, к сожалению, самая многочисленная категория — это те, кто видел «Братев Карамазовых» по телевидению. Люди только думают, что они смотрят телевизоры. На самом деле телевизоры смотрят люди. Страшновато, когда создается иллюзия присутствия везде, хотя ты нигде; когда ты можешь спокойно жевать сосиски с капустой и игриво поглаживать выпуклости супруги, в то время когда на экране Отелло душит Дездемону или каратели в Родезии расстреливают людей. Настоящий экран в мир — это великая книга, потому что книгу нельзя включить или выключить, хотя иногда пытаются это делать, но такие попытки обречены, ибо великая книга включается навсегда.

Создавать великие книги мучительно, и мучительно их читать, потому что великая боль — мать великой литературы. Но дай бог, чтобы страдания людям причиняло только искусство! Ингмар Бергман говорил о том, что, когда мы решим все то, что сейчас кажется нам проблемами, тогда-то и появятся настоящие проблемы. Но до этого, к сожалению, далеко. Страдания, которые

свозь милитаристские по своей природе, — это война, потому что расизм — это война, потому что все виды шовинизма, включая сионизм и антисемитизм, — это война.

Можно и не объявлять войну другим народам, не пересекать границ других государств, но ежедневно быть в состоянии агрессии против собственного народа, насильственно пересекая границы совести. Но каждый народ — это часть всего человечества, а агрессия против даже собственного народа — это агрессия против всего человечества.

Человечество не должно опускаться до морали мафий, договорившихся не пускаться в ход только одно какое-то определенное оружие, оставляя за собой право ножей клеветы и недоверия. Нам нужно не такое кажущееся перемирие, а вечный принципиальный мир — в этом воля всех народов. И такой принцип, который мог бы объединить человечество, есть. Этот принцип — сам человек. Нет вероисповедания выше, чем человек, нет политического убеждения выше, чем человек, нет государства выше, чем человек. Каждый человек — это сверхдержава. Мы, писатели мира, — послы этой сверхдержавы — человека.

Никто из нас не живет в раю, если он и есть на том свете, то никто оттуда еще не возвращался на землю и не информировал нас о своих радужных впечатлениях. Но, говоря даже суровую правду друг другу, мы должны делать это, как коллеги врачи, склонившиеся во имя спасения нашего общего человечества над его израненным телом, должны проявлять такт, чтобы не помочь ни единым своим словом тем, кто так изранил и ежедневно ранит человечество.

Иногда я вспоминаю сцену суда над Митей Карамазовым, когда, стараясь выразить по красивей и сорвать аплодисменты, полемизирующие прокурор и адвокат совершенно забывают об объекте спора — о самом Мите. И человечеству, о котором забывают в такой полемике, остается только прошептать, как Мите Карамазову: «Тяжело